

Михаил КУРАЕВ

ПУШКИН РЯДОМ

Путешествие питерского обывателя

Приближение первое

Поразительна способность Пушкина совершенно неожиданно оказываться рядом.

Причина тому может быть в том необычайном пространстве, которое он занимает в нашей жизни.

Иногда, к моей досаде, он оказывался рядом совершенно не вовремя.

В детстве случалось удариться или больно пораниться, очень хотелось, чтобы тебя пожалели. Стрдание самый надежный вексель на сострадание. А сочувствие, сострадание это уже универсальный целебный эликсир. Мама обычно говорила, что на войне и не такое бывает. Война была делом актуальным. А отец умел рассмешить, что ему обычно удавалось без труда, и тут же поминался Пушкин: «...ему и больно и смешно...» Именно благодаря Пушкину вексель объявлялся опротестованным, и права на сострадание из-за этого самого Пушкина я лишился. От досады приходилось плач усилить, но после того как ты только что смеялся, твоя безмерная по себе скорбь именовалась *дурью* и к оплате не принималась. Становилось себя невыразимо жалко...

И все из-за того, что «ему и больно и смешно» уже было!..

Пушкин – это предварение нашей жизни.

Мы в нее только еще входим, а он нас там уже поджидает.

Зимой, когда утром не хочется спешить окунуться в холодный, остывший за ночь воздух не-топленной комнаты, в согретой постели так хорошо... Низкое заполярное солнце уже по-весеннему бьет в окно, а за окном слюдяным блеском горит освеженный ночной вьюгой снег, и снова на стороне родителей оказывается непрощеный Пушкин с его «мороз и солнцем»...

Зато когда ему следовало бы появиться там, где его очень ждали, его не было!

Мама укладывает нас с братом спать. За окном вздрагивает под ударами полярной пурги светозащитный ставень.

В комнате темно. Маму едва видно. За окном свистит ветер.

Кажется, что мы вместе с домом куда-то летим. «Ма-ам, расскажи...»

«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна...»

И это, оказывается, было. Но интересно. И жутко. «Ма-ам, еще...»

«Подруга дней моих суровых... одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждешь меня...»

Арину Родионовну мы с братом в ту пору любили больше, чем Пушкина. Любили, потому что жалели. Она со своей любовью и преданностью Пушкину была такой понятной и желанной. Обе наши бабушки умерли в блокаду, и наша готовность любить их и быть любимыми искала себе приложения.

Душа загружалась горькими словами: «Глядишь в забытые ворота на черный отдаленный путь: тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасно грудь...»

«А она знала, что Пушкина убьют?»

«Нет, не знала. Она умерла раньше.»

«А где она похоронена? В деревне?»

«Нет, там же, где и ваша бабушка, на Смоленском...»

Зимой сорок пятого, когда мы ждали отца с Японской войны, которая именно для него никак не могла закончиться, как раз эти стихи, «Подруга дней моих суровых...», мама читала, быть может, как папину молитву, обращенную к ней, к нам с другого конца света. Но эта догадка когда-

то еще придет, а пока под «бури завыванье» я тихо злился на жестокосердного Пушкина, понятия не имеющего, что значит иметь любящую тебя бабушку...

Три приближения к «Онегину»

Впрочем, в непоправимом жестокосердии Пушкина мне пришлось убедиться после первого прочтения романа в стихах «Евгений Онегин».

На протяжении всей поэмы меня убеждали, а я в это поверил буквально с первых слов, в том, что Онегин Евгений и Ларина Татьяна созданы друг для друга.

Истомленный, измученный бесконечными околичностями, отступлениями, спотыкаясь о бессмыслицы вроде: «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом», продираясь сквозь все, что отдаляет неизбежное счастье, я ждал соединения посланных друг другу Богом любящих сердец. И на тебе – они никогда вместе не будут!

Хорошо, что в ту пору у меня была своя комнатка в мезонине просторного коттеджа, полагавшегося отцу по должности. Никто не видел моих невольных и неудержимых слез. Горе, настоящее горе... Я не верил, что дело непоправимо.

Нет, Пушкин, конечно, сочинитель, поэт, но Онегин и Татьяна стали для меня людьми такими близкими, что я вовсе не нуждался ни в каком Пушкине, чтобы думать о них и действительно желать им блага.

Было совершенно ясно, что то ли по легкомыслию, то ли по лени, то ли по отсутствию элементарной фантазии Пушкин не сумел довести дело до заслуженного и обязательного для таких хороших людей счастливого конца...

Итак. Сплошь и рядом женщины, чьи мужья не вернулись с войны, выходили вторично замуж. Дело обычное. Муж Татьяны генерал. Вон сколько при Бородино одних только генералов убито... Я готов был дать автору несколько рекомендаций, на выбор. Его дело, что предпочесть.

Значит так. Сражение. Красивая смерть. Похоронка. Один вариант. Или второй. Муж у Татьяны старый. Он значительно старше Татьяны. Отлично! Онегин отправляется путешествовать. Путешествует, пожалуй, даже несколько лет. Пусть дедушка тоже поживет. Потом Онегин возвращается и видит убитую горем овдовевшую Татьяну. Утешает ее и...

Пушкин, где ты? Все можно поправить!..

Но когда он нужен, его как раз рядом и нет.

Пройдет несколько лет, и в прочтенном заново «Онегине», к немалому моему удивлению, и Онегин, и Татьяна вызовут не больше чувств, чем найденные в детском ящике куклы, герои когда-то разыгранного спектакля. Открытие было невероятным, захватывающим. В романе есть только один герой и только одно действующее лицо – Пушкин! Весь роман, даже с застреливанием уснувшего за сочинением своей арии Ленского, со всеми бледными красами и власами Татьяны, для театрального эффекта озаренными «томным светом луны», Онегин, с его глупой и претенциозной шуткой о глупой луне и глупом небосклоне, все не шло ни в какое сравнение с удивительным героем-рассказчиком. А как было интересно следить за тем, как он ласкает одних своих героев, смеется над другими, сдержанно улыбается, рассказывая о Татьянинном батюшке, и сыпет по полям романа чудесными стихами обо всем на свете. И главное, это был наш роман с Пушкиным! Он все время обращался ко мне, знал о моем присутствии...

Пришла пора, и я снова снял с полки «Онегина» в предвкушении нашего с автором общения.

И снова неожиданность.

Теперь в твоём сознании «Онегин» был неотделим от отечественной словесности, он читался, как говорится, в контексте... И тут-то открылась поразительная насыщенность, концентрированность текста. Памятные слова Белинского вдруг обернулись своей ясной глубиной – «энциклопедия русской жизни».

Энциклопедия – это универсальное, как бы для всех случаев жизни годящееся снаряжение...

А что такое «Горе от ума»? А «Ревизор»? А «Мертвые души»?

Оказывается, отечественная литература дает нам такие сочинения, знание которых, хотя бы одного из них! – глубокое, основательное знание, делает человека удивительно оснащенным перед лицом русской жизни.

Много ли назовешь жизненных ситуаций, спрашивал я себя, к которым не нашлось бы соответствующего места в «Ревизоре» или «Горе от ума», в «Мертвых душах» или «Онегине»?

Вот с этим, «третьим», энциклопедическим «Онегиным» так и живу, заглядывая в него по мере надобности.

Приближение на электричке

При Пушкине я – читатель. Пушкина я читаю вовсе не для того, чтобы его объяснять. Читаю, потому что интересно.

А в личных отношениях считаю нас давними знакомыми. Какие к тому основания? Самые прямые. Я его знаю, как говорится, с младых ногтей, это уж судьба и счастье едва ли не каждого русского человека.

Впрочем, и он, оказывается, меня знает, знает во всякую пору моей жизни, иногда получше меня самого, что и дает мне право считать его в кругу своих самых близких друзей и самых необходимых.

Последний раз мы с ним встретились недавно в электричке.

Конечно, у меня есть пять томов венгерского издания «Библиотеки великих писателей», способных украсить своими черными переплетами с золотым тиснением любой книжный шкаф. Случается и мне заглядывать в эти тома, не только ими любоваться. Но дома я читаю Пушкина чаще всего в родном уже, как член семьи, пухлом однотомнике 1937 года, под редакцией Б. В. Томашевского, где на подслеповатых страницах газетной бумаги «весь Пушкин». А вот вне дома я люблю читать Пушкина в копеечных изданиях, в книжечках, что в недавние времена выходили миллионными тиражами и стояли на полках в любом книжном магазине.

Итак, ехал я однажды в электричке.

В предвидении атаки неугомонных и несчастных коробейников с их надоедливом «Извините за очередное беспокойство...» полез в сумку в поисках отвлекающего чтения. Натолкнулся на «Евгения Онегина» в том самом миллионном издании. На внутренней стороне мягкой обложки увидел выписанные моей рукой номера каких-то страниц. Значит, эти страницы пришлись когда-то ко времени и настроению. «Ну что, брат Пушкин, напомни о настроениях минувшего лета...» Что там, к примеру, на стр. 109 – 110?

...Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.
А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

Интересно, как велико число людей, коим эти строчки и утешительны и необходимы?..

«Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – платформа «Боровая».

Поехали!

Как интересно знать больше Пушкина!

О чем?

Да хоть о «Евгении Онегине».

Перед нами роман заверченный, не раз прочитанный, прокомментированный едва ли не построчно.

А что знал он, пускаясь в этот самый главный, по собственному признанию, и самый долгий труд своей жизни?

Он даже не знал, кому он его посвятит.

Первое издание 1-й главы вышло с посвящением брату, Льву Сергеевичу, в начале 1825 года. Первому изданию четвертой и пятой глав будет предшествовать стихотворное обращение к другу, Петру Александровичу Плетневу. А вся книга с посвящением впереди Плетневу выйдет лишь вторым изданием в 1837 году.

Писал в начале работы «о печати и думать нечего», а печатал даже до завершения всей работы, по частям.

Первой публикации 1-й главы предшествует обращение к читателю, автор рекомендует себя в качестве «сатирического писателя». Да, Пушкин был уверен, что пишет вещь сатирическую, отсюда и безнадежный кивок в сторону цензуры и признания в письмах: «Я на досуге пишу новую поэму Е в г е н и й О н е г и н, где захлебываюсь желчью».

«Онегин» – желчная сатира?

Нет, дорогой Александр Сергеевич, вашему великолепному роману суждена иная жанровая прописка. И нам не кажутся желчными ваши суждения о нас, сегодняшних, потому...

...что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Мы изменились совсем мало.

«Мы любим Муз чужих игрушки, Чужих наречий погремушки...»

Не новым цветом расцветает столица и через два с половиной столетия:

«Тут был, однако, цвет столицы, И знать, и моды образцы, Везде встречаемые лица, Необходимые глупцы...» Жив и Проласов, хотя носит, наверное, фамилию жены: «Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души...», «Всяк суетится, лжет за двух, И всюду меркантильный дух». И нарисованный вами портрет современного человека «С его безнравственной душой, Себялюбивый и сухой» по-прежнему современен.

Далеко умел видеть Пушкин, нас видел, видел такими, какими нам самим не очень-то хотелось бы рекомендоваться перед предками.

Всякий раз приступаю к чтению «Онегина» с предощущением неожиданности.

Словом, и нынче, в электричке, я втайне надеялся и ждал: что-то на этот раз поднесет мне неисчерпаемый в своих фантазиях автор.

И ожидания оправдались.

Надо бы сказать, что полтора часа пронеслись, как ... но они не пронеслись, а стали началом длительного и совершенно нового (для меня) ощущения знакомого во множестве подробностей романа. Я не переставал удивляться собственной слепоте, почему я этого не видел раньше?!

Ответ прост. Не видел э т о г о, потому что видел д р у г о е. Стало быть, и э т о и д р у г о е в романе заключено, но разом такому читателю, как я, не открывается.

Что же такого нового открылось мне в этом, уж не знаю каком по счету, прочтении любимейшего из поэтических созданий на русском языке?

О чем этот роман? – спросил я себя. И, дочитав, ответил – о Жизни и Смерти.

Возникавшее по ходу чтения предчувствие этого несколько неожиданного и для себя самого вывода казалось выдуманным, но финальные строки уже не оставили сомнений. Конец венчает дело.

Вы помните, как заканчивается роман?

Странно, однако, он заканчивается. Утром, совершенно в неурочный час, «чуть свет я на ногах, и я у ваших ног», Евгений оказывается в будуаре Татьяны. Мыслимое ли дело – гость в такое время и в таком месте. Происходит решительное объяснение и... входит муж! Позвольте. Самое интересное в анекдоте как раз и начинается после того, как «входит муж». А разве в самом романе поводом к трагическому поединку между друзьями, между Онегиным и Ленским, не послужил эпизод куда менее серьезный? Вполне извинительное на балу кокетство, легкий флирт, все не всерьез, почти в шутку, и кровавая развязка. А здесь, шутка ли, застать приятеля в будуаре своей жены в неурочный час, жену в слезах... И что же?

А ничего! Конец истории, баста.

И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

Оборвать историю, как сказал бы простодушный читатель, на самом интересном месте? Да кто же это из романистов бросал своего героя «в минуту, злую для него»?

Стало быть, для автора совсем не важно, что произойдет с этим Онегиным, князем, приходившимся ему «родней и другом», и княгиней, «бедной Таней», снискавшей и авторскую, и нашу любовь?

А что же важно, какого берега достигли автор и читатель, с каким прибытием, куда, поздравляет нас автор?

Мы помним его доверительное: «Куда ж нам плыть?» Вот и отправляясь в семилетнее плавание с «Онегиным», автор «неясно различал» дальний берег. Вот где подтверждение и в романе особого жанра – «свободного романа». Так совершаются плаванья в неведомое, без заранее вычерченного маршрута и ясно намеченной конечной точки. Предпоследняя строфа романа как раз и заканчивается этим признаем: «...И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал».

Таким образом, позволительно предположить, что и для самого автора окончание путешествия почти столь же неожиданно, как и для читателя. И мы получим тому подтверждение. Но прежде вспомним рассуждение, подсказанное Лермонтовым, ставшее как бы общим местом, о том, что в гибели Ленского Пушкин предсказал и свою смерть на дуэли.

Нет, если уж говорить о смерти Пушкина, о том, как он ВДРУГ, не отодвигая повседневных дел, отправился стреляться, то комментарием к этому могут служить как раз заключительные строки романа, обозначившие тот «берег», на который наконец-то прибыли автор и читатель:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Точка. На взлете «не допив до дна...»

«Блажен, кто праздник жизни рано оставил...» Почему блажен? Чем же плох этот праздник жизни?

«И вдруг умел расстаться с ним...» Он так и расстанется, но уже не с Онегиным, а с жизнью – вдруг!

Не в этих ли строках он узнал – зачем он писал этот роман, узнал, утешил свое любопытство и отложил перо.

А если это так...

Мне показалось, что я близок к ответу на вопрос, почему глава девятая, «Путешествие Онегина», не могла быть включена в основной текст романа. Мне казалось, что я близок к ответу и на вопрос, почему доставшаяся нам в крошечных фрагментах, сожженная «Десятая глава», обещавшая политическую панораму мятежной России пушкинской поры, также исключена из романа...

Может быть, не одна, а обе главы не могли претендовать на место в романе, говоря словами автора, «по причинам, важным для него, а не для публики».

Что же это за причина?

Читая роман, я привык откликаться на обращение автора ко мне. И в обольщении этой близости, предложенной автором, совершенно не заметил, что в романе есть еще один как бы сюжет, диалог автора с самим собой. И тему этого диалога, как важнейшего, и сам автор нашел не сразу, она родилась скорее всего из поразительного доверия своему чувству.

Впрочем, с чего начинается роман? Вернее, как он возникал?

Он возникал в поразительном ощущении ссыльным поэтом... свободы! И в ощущении необычайной творческой силы, способной охватить все обозримые пространства и людское многообразие.

Вот первые свидетельства о работе над романом: «на досуге», «спустя рукава», «с упоением»...

Что значит «досуг», «спустя рукава»? Нет, не кое-как, а без понуждения, легко, для себя, отсюда сразу же — «о печати и думать нельзя...»

Откуда такое убеждение? Что за крамолу задумал поэт? Что бесцензурного в фонтанирующих избытком жизни первых главах?

Откуда эти опасения, как выяснилось, напрасные?

Скорее всего само чувство безоглядной свободы, охватившее поэта, легкость и предписанная себе безоглядность уже сами по себе были «цензурными», да еще сатирический азарт вольного человека...

Воля на этот раз нужна была, быть может, не для сведения счетов «с гнетом власти роковой» и с самовластительными злодеями, она нужна художнику, поэту для прямого обращения к жизни во всей ее полноте, обращения без оглядки на всякого рода «посредников».

Заметим, что новый герой, Онегин, так близок, так временами схож, особенно в первых главах, с самим автором, что ему пришлось, ощущая это сходство, объясниться с публикой и обозначить свои отношения с добрым своим приятелем в миру.

Легкость, с которой началась работа, а исследователи рукописей и черновиков подтверждают это сравнительно малым количеством вариантов и исправлений, не обещала, однако, скорого завершения работы.

Мы же помним, как, что называется, в один присест были созданы такие шедевры, как «Медный всадник», или «Полтава».

Но в «Полтаве» и «Медном всаднике» организующую роль играет сюжет: Мария — Мазепа — Война, Евгений — Петр Первый — катастрофическое наводнение. Сюжет «Онегина» не был оснащен путеводной завершающей точкой, он не «история», в том числе и почти брошенных (уже за ненужностью?) Татьяны и Онегина.

...Вдруг в этом дорожном чтении для меня сомкнулись своеобразной рифмой начало и конец романа.

Роман начинается со смерти, легкой и для читателя, и для героев. К неведомому нам и не очень важному дяде летит в пыли на почтовых Онегин, рекомендованный с первых же строк молодым повесой.

...Жизнь и смерть будут встречаться на протяжении всего романа, и вот последние строки: «Блажен, кто праздник жизни рано...»

Так вот о чем вел с собой разговор автор на протяжении восьми глав, забавляя меня, простодушного читателя, великолепным живописанием всей полноты существования частного человека...

Важный разговор о Жизни и Смерти вдруг, быть может, неожиданно и для автора, разрешается освобождением от его гнета, преодолением трагической безысходности.

Может быть, потому и не мог быть дописан роман, пусть и с перерывами, но разом, что ответ на главный вопрос, занимавший душу и мысль автора, что же такое Жизнь и что значит «гроба тайны роковые», не мог родиться в кабинетных размышлениях, он должен быть нажит, стать итогом прожитой жизни. Семь лет Пушкин шел к удовлетворившему его ответу, и семь лет предстояло прожить еще... Снова рифма...

А мне, чтобы догадаться, быть может, о главном вопросе, занимавшем автора семь лет, понадобилась прожитая жизнь плюс еще полтора часа в электричке.

Во втором приближении

Приехавший в Ленинград Василий Шукшин сказал: «У вас здесь по улицам ходить страшно, вдруг на след Пушкина наступишь».

Я позавидовал гостю и запомнил его слова.

Дано ли мне, городскому обывателю, почувствовать с такой же остротой Пушкиноград? Дано ли мне почувствовать страх мудрого и любящего человека, вступающего в пространство Пушкина: не наступить на след, не вытоптать...

Все дело в том, что на памяти питерского обывателя только Дом-музей на Мойке реставрировался, ремонтировался и перестраивался немереное число раз. Могла ли мама бояться наступить

на след Пушкина, если она бежала мимо дома Клокачева на Фонтанке, опаздывая на уроки в свою Коломенскую гимназию? А дядя, именно мой дядя, жил в Фонарном переулке в доме, вернее, в квартире Нестора Кукольника. А мужа маминой сестры арестовали в доме у Кашина моста, на проспекте Римского-Корсакова, где на «субботах» у Жуковского сходились «литераторы всех расколов и всех наций», где впервые прозвучали главы «Руслана и Людмилы» вчерашнего лицеиста...

Приятель Рудик жил на третьем этаже в доме Баташова на Кутузовской набережной, в тех самых стенах, куда семья Пушкина переехала из квартиры в бельэтаже. А в дом на набережной Пушкин переехал из дома Оливье на Пантелеймоновской, где квартиру сняла Наталья Николаевна, пока муж искал следы злодея Пугачева в оренбургских степях... Так именно в этом доме жила Наташа К., однокурсница из нашего института, расположенного неподалеку, на Моховой, почти напротив дома Мижуева, где Карамзин так и не закончил двенадцатый том своей «Истории»...

Для приезжего встреча с пушкинским Петербургом – праздник, для обывателя – повседневность, впрочем, порождающая свои особые сюжеты, как бы продолжающие жизнь Пушкина в этом городе.

...Место, где ты появился на свет, обладает притягательной силой, хочется его не только знать, но и сознать его логичность и несомненность.

Знаменитая акушерская клиника, впоследствии институт им. профессора Отта, расположилась едва ли не в красивейшем месте города, она стоит на Стрелке Васильевского острова, сразу за Фондовой биржей, напоминающей храм Посейдона.

На фронтоне храма владыка морей и океанов в окружении водоплавающей свиты воздетым трезубцем благословляет смельчаков, отправляющихся по Неве в его владения или благополучно из морских странствий возвращающихся. Для проводов устроен великолепный нисходящий пандус, для встречи установлены огромные ростральные колонны, огнем масляных маяков, в вознесенных огромных чашах, приглашающие причалить и взойти на площадь... Пушкина.

Грех сказать, но с моего несогласия с тем, что Стрелка Васильевского острова, украшенного Военно-морским музеем, величественными фигурами у подножья ростральных колонн, символизирующими великие русские реки, колонн, возвещающих победы над поверженными кораблями, названа именем Пушкина, и началось осознание пушкинского – тогда ещё, разумеется, Ленинграда.

Вернувшись домой после эвакуации лишь в сорок седьмом году, я увидел Васильевский остров хранящим на граните Университетской набережной черной краской исполненные надписи: «Отстоим родной Ленинград!», «Смерть немецко-фашистским захватчикам!» Я знал, что вернулся домой, где все необходимо и объяснимо, как надпись на соседнем доме на 6-й линии: «Хожение с факелами и горящим тряпьем по лестницам, чердакам и подвалам запрещено». Здесь все было понятно без пояснений. Все остальное могла объяснить мама. Что такое Кунсткамера? Что такое Фондовая биржа? Что такое Кадетский корпус? Почему орел венчает обелиск «Румянцева победам»? Почему орден Кутузова, сдавшего Москву, есть, а ордена Румянцева, врагов и близко к России не подпускавшего, нет? И почему Дворцовый мост называется Республиканским? Мама не могла только объяснить, почему самое морское место в Ленинграде, площадь перед Военно-морским музеем, называется Пушкинской, и почему никто Стрелку Васильевского острова Пушкинской площадью не зовет – впрочем, как и Дворцовый мост Республиканским.

Нет, «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет...» маловато для того, чтобы площадь с колоннами, украшенными носами поверженных вражеских кораблей, называлась твоим именем.

Я уже привыкал к тому, что Пушкин в моем городе живет естественно и по праву. Он не нуждался в увековечении с какими-то чрезмерными или малопонятными усилиями.

Я же этот город получал из рук Пушкина.

С адмиралтейского шпиля еще не смыта камуфляжная краска, а я уже знал, что это и есть «светла Адмиралтейская игла». И, проезжая на трамвае № 4 с Васильевского на Невский по краю Дворцовой площади, которую тоже никто не хотел называть именем знаменитого чекиста Моисея Урицкого, я знал, что слава Пушкина повыше ангела на Александровской колонне. А то, что Пушкин в «Памятнике» имел в виду Александровский маяк, не знал, разделяя, впрочем, заблуждение многих ленинградцев.

И театр напротив гастронома, источавшего фантастические запахи недосыгаемой еды и молотого кофе, был Пушкинским, и не мог быть никаким другим.

«Мама, а колесницей вон там, наверху, правит Пушкин?»

«Нет, это Аполлон, бог, покровитель искусства».

И вопрос к родителям, как называлась река до дуэли Пушкина, был совершенно естественным. Разумеется, если бы речка до дуэли не называлась Черной, ее следовало бы переименовать.

Пушкин, именно он помог ощутить странное двуличие города, в котором живу, да и самой жизни.

Тогда я не мог бы свои чувства назвать с сегодняшней определенностью, но Пушкин позволил почувствовать, увидеть, ощутить в жизни фальшь, нарочитость, притворство, дурное лицедейство, потому что сам он был мерой правды и естественности.

Чем дольше живешь, тем больше и больше начинаешь ценить его неподдельность, верный признак его душевной ясности, здоровья и абсолютной внутренней свободы. Иногда кажется, что он был свободен за всех нас... Мы примирились с несвободой, но рядом был Пушкин, и мы знали, что врем сами себе. Нам казалось, мы уверяли себя в том, что без разумного притворства не проживешь, но рядом был Пушкин, не позволявший нам забывать о нашем притворстве. Вот и сегодня, когда нашу совесть пытаются усыпить, подкупить, когда новоявленные Пилаты, пряча хитрость под глубокомыслие, вопрошают: «Что есть справедливость?!» – Пушкин рядом, как наша встревоженная совесть, живущая неистребимой жаждою справедливости, и на земле, и выше...

Для нас, получивших свой город из его рук, и слово его, и имя обращаются особенным образом.

Авторитет имени, обаяние стихов, входивших не только в твое сознание, но, кажется, и в плоть, не позволяли сомневаться в истинности сообщаемых поэтом сведений.

Поэтический образ принимался за реальность.

Нам не приходит в голову упрекать Лермонтова в неточности, когда он пишет о смертельно раненном поэте «с свинцом в груди», хотя роковая пуля как раз грудь-то и не тронула.

А вот к пушкинскому слову – «На берегу пустынных волн...» я, так же, как и многие горожане, относился с несомненным доверием.

Пройдет немало времени, прежде чем не без удивления узнаешь, что устье Невы было заселено и освоено за сотни лет до появления на его берегах Петра Первого.

Только один рукавчик Невы, впоследствии поименованный Фонтанкой, к примеру, по берегам своим имел деревни Враловщина, Кандуя, Усадица, а в устье еще безымянного ерика с незапамятных времен гнездилась деревня Калина, именовавшаяся на старинных картах то Кальюла, то Каллина.

Здесь, у Калинкина моста, Пушкин проживет долгих три года, от окончания Лицея до ссылки. Знал ли он вековую историю этих мест? Наверное, есть селения, имеющие столь неприглядный вид, что на присутствие в истории им как бы претендовать не приходится. Действительно, не хочется мириться с мыслью о том, что за сотни лет десятки поколений не сумели придать месту своего обитания вид, радующий глаз.

Иное дело память земли.

Она хранит следы средневековых торговых путей «из варяг в греки», подтверждая богатство путешественников нет-нет да и открываемыми кладами. А под Сестрорецком и Красным Селом и вовсе нашли следы стоянок первобытного человека...

Жаль, конечно, что Петр стоял «на низких топких берегах» – совсем рядом были места и выше и посуше, и не такие, кстати сказать, дикие, где испокон веку селились нормальные люди.

...Так приходило понимание разницы между правдой художественного образа и фактической достоверностью – вещей, не всегда совпадающих.

Вот и еще одна ступенька, и весьма значительная, в понимании искусства.

Лукавые приближения

Казалось бы, знание или незнание обывателем истории своего города практического значения не имеет.

Что важнее, в конечном счете, знание Пушкина или краеведческая осведомленность?

Но здесь нет никакого «конечного счета», как нет и весов, на которых можно взвесить справочник и поэму. Важны оба знания.

Но вот сравнительно недавно, с прямой для себя практической выгодой, лукавые борцы с сооружениями защиты города от наводнений предложили обывателям выбор: с кем вы?! с великим русским поэтом Пушкиным или с несомненными погубителями рек, морей и городов?!

Пушкин был предьявлен как высший авторитет в... гидрологии.

Может быть, когда-нибудь разыгравшийся на нашей памяти сюжет займет свое место в комментариях к «Медному всаднику».

Вопрос о защите города от наводнений родился вместе с городом, в год его основания стихия нанесла немалый урон первостроителям.

Безумцев, предлагавших в наводнениях видеть лишь романтическую краску в портрете города (а водятся и такие!) осталось не так уж много.

7 ноября 1824 года на город обрушилось катастрофическое наводнение.

После ужасающего наводнения 1777 года действовал указ, запрещающий предавать гласности последствия наводнений. Указ-то указом, но и скрыть беду невозможно.

А сосланному в Михайловское Пушкину известие пришлось, как говорится, «под настроение». Он пишет брату: «Я очень рад этому потогу, потому что зол. У вас будет голод, слышишь ли?» Но узнав подробности, Пушкин становится предельно серьезен. Известие о розданном в помощь пострадавшим миллионе рублей из казны малоутешительно: «Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. И прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного». Здесь же и урок социальной этики, напроць в нынешние времена забытый: «Заккрытие театра и запрещение балов – мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью».

Ужасающее наводнение 1824 года послужило Пушкину побудительным мотивом печального рассказа о каменном городе, медном всаднике и сведенном с ума, а потом и вовсе раздавленном живом человеке.

Мотив, так сказать, двойного убийства: сначала свести с ума, лишить человека способности адекватно оценивать реальность, а потом умертвить – знаменательный и повторяющийся у Пушкина.

В описании наводнения Пушкин следовал достаточно точно бытовавшим в то время представлениям.

Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
...Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...

Так же, как мы не в праве ждать от Лермонтова рассказа о раздроблении дантесовой пулей крестцовой кости, так же и у Пушкина не следует искать гидрологических и метеорологических достоверностей в объяснении наводнения, тем более опережающих знания его времени. Достаточно того, что картина эта в «Медном всаднике» принадлежит лучшим страницам отечественной поэзии.

Природу наводнений разгадать было не так просто.

Главным действующим лицом оказалась вовсе не Нева, а так называемая «нагонная волна», гигантская водяная подушка, поднятая циклоном в море и грозящая на мелководье серьезными бедрами. Нева же, то есть невольский сток, составляет в этой чудовищной массе воды лишь скромную часть. Стало быть, защищать город надо не от Невы, а от моря. Большая, как поэт говорил, разница.

После многолетних изысканий, экспертиз, сравнения различных вариантов проект защиты города от наводнений был принят и началось строительство.

Противников у этой стройки было в пропорциональном исчислении не больше, я думаю, чем у строителей первой в России железной дороги из Петербурга в Павловск в пушкинские времена. Это тоже было великим испытанием для самоуверенного обывателя. Не грех напомнить, что дорога эта, как и защитные сооружения (для удобства понимания «тети Маши» окрещенные «дамбой»), должна была принести, по уверениям «знающих людей», неисчислимыя бедствия и

потери: гибель людей и стад под железными колесами очевидна, выгоревшие вокруг железной дороги деревни, леса, пажити, города также легко представить, а изувеченная земля, по которой уже никто не пройдет и не проедет, а бездна денег, выброшенных на прихоть злодеев... и прочие, столь же несомненные, доводы.

Обыватель и через полтора года лет остался обывателем, а «знающие люди» так же убежденно и достоверно могли судить обо всем на свете.

Итак, под глухой ропот и скрип скептических перьев стройка шла полным ходом, что давало реальные основания получить к 1990 году надежную защиту от наводнений (угрожающих, в первую очередь, историческому центру города) и окружную дорогу для разгрузки города от постоянно возрастающего потока транзитного транспорта, и все это ценой... ну, для сравнения скажем — ценой одной большой подводной лодки. Строились же эти лодки в ту пору у нас в стране десятками.

И вдруг! всплеск скептических голосов обернулся «волной народного гнева», волной, которая должна была смыть сооружения, угрожающие, оказывается, городу больше, чем любые наводнения.

И надо же так случиться, что волна эта поднялась именно тогда, когда горожанам предстояло сделать выбор, кто займет место городского головы, по-модному названного «мэром», профессор ли советского права из Ленинградского университета или начальник Управления строительством сооружений защиты Ленинграда от наводнений.

Любой ценой «сокрушить» сооружения защиты — и победа на выборах обеспечена.

Мог ли предположить Пушкин, что его совершенно извинительное заблуждение относительно природы наводнения будет использовано в политической интриге как средство доказательства преимуществ одного кандидата перед другим?

Разве могут какие-то схемы, диаграммы и расчеты сравниться со звенящей и брызжущей пеной строкой: «...но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла...» Никуда она обратно не шла, но острова-то в воду погружались!

Можно было бы и порадоваться «победе Пушкина» в споре о том, правильно или неправильно собираются защищать город от стихий, если бы борцами с «неправильной дамбой» двигала любовь к Пушкину, та любовь, что заставляет говорить: «Если с одной стороны будет истина, а с другой Христос, я буду с Христом!»

Нет, победивший на выборах профессор советского права поставил Пушкина на полку, «Медного всадника» больше не поминал и после несложных маневров «для соблюдения лица» вдруг стал понимать то, чего никак не мог понять во время избирательной кампании. Из уст сокрушителя «дамбы» мы услышали о том, что защитные сооружения нужны, что стройку надо продолжать и завершать... Но к этому времени страны, способной защитить не только Ленинград, но и себя от враждебных стихий, уже не было.

Сюжет повторился: сначала победа «стихий» над разумом, а в перспективе и над жизнью, ничем не защищенной.

Внеплановое приближение

Волею обстоятельств став литератором, я писал эти заметки на литфондовской даче в Комарове под Питером.

Знакомый профессор одного из питерских университетов, возвращенных усилиями энтузиастов в недавние времена, не застав моего соседа дома, заглянул ко мне. Как и полагается, при виде разложенных на столе бумаг был высказан интерес к предмету моих занятий.

Стоило мне сказать, что я пишу о Пушкине, как на лице профессора произвольно явилась горькая улыбка, в ней был и испуг, и недоумение, и сострадание, будто я сообщил о том, что отправляюсь завтра на Эверест, чтобы забраться на него и броситься головой вниз.

Писать о Пушкине?! Без лицензии от надзирающих и опекающих русскую литературу?

Это ли не дерзость? Не глупость ли это, наконец?

В свое оправдание я сказал, что к литературно-анатомическому столу, где кормятся знатоки своего дела, я не пробиваюсь, а просто как житель, как обыватель, как вроде бы земляк знаменитого человека хочу поделиться своими впечатлениями, каково жить с ним рядом.

К моему счастью, название журнала, для которого я писал эти заметки, профессору было неизвестным, и, как мне показалось, ревность сменилась умиротворением. Я почувствовал, что могу рассчитывать если не на прощение, то на снисхождение.

Так и вышло.

Именно из снисхождения мне дали понять, как непросты пути к Пушкину, и сколько мне еще предстоит пройти, прежде чем я смогу приблизиться к тем вершинам понимания пушкинского творчества, на которые с помощью профессора уже взошли наиболее одаренные студенты, аспиранты и магистранты.

В расчете на мою сообразительность мне был устно преподнесен конспект семинара по повести Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель».

Ключ для понимания смысла, сути и глубины содержания повести после углубленного изучения текста профессором в содружестве со студентами, аспирантами и магистрантами был найден в картинках, развешенных на стенах в жилище С. Вырина. Картинки эти иллюстрируют притчу о блудном сыне. Параллельность сюжетов, «в соответствии с замыслом автора», буквально подтверждается словами Самсона Вырина: «...приведу я домой заблудшую овечку мою». Дальше следовало объяснение «параллельности» ситуаций, изображенных на картинках и случившихся с Дуняшей Выриной.

Больше всего меня удивила не простенькая для студентов и магистрантов трактовка чудной повести, а регулярное упоминание «авторского замысла». «Замысел автора очевиден...», «Как и следует из авторского замысла...»

Вступать в спор с душеприказчиками нехорошо, невежливо, да и бессмысленно.

Однако получалось, что Пушкин написал повесть для того, чтобы проиллюстрировать полупародийные иллюстрации к хрестоматийной притче.

Почему полупародийные? Да потому, что евангельские персонажи изображены на картинках в камзолах и треуголках, а новозаветный текст под картинками заменен новонемецкими стихами. Так что речь идет не совсем о притче, о блудном сыне, а о переводе, переложении для понимания немецкого обывателя. В треуголках и камзолах ему герои и ближе и понятней, и евангельский текст не так хорош, как немецкие стихи.

Не вдумываясь в весомость доказательств, не хотелось верить в академическое по форме и школярское по сути прочтение повести.

Долгожданный сосед пришел как раз к концу показательного урока.

Проводив профессора, я немедленно вступил с ним в заочный диалог, вернее монолог... Для видимости разговора задавая себе вопросы.

Вопрос первый. Можно ли говорить о повестях Белкина, не сказав себе, для чего Пушкину понадобилась маска простодушного, недалекого, кроткого и честного малого Ивана Петровича Белкина, человека до такой степени никому не известного, что о нем не слышала даже его ближайшая родственница Марья Алексеевна Трафилина?

Представляя сочинителя, Пушкин начинает с шутки, да и эпиграф из «Недоросля», реплики г-жи Простаковой и Скотинина, подсказывают условия игры.

Замечательно и то, что сам-то Иван Петрович Белкин рассказывал слышанное от других, помечая рядом с названиями «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель» инициалы и звание каких-то «реальных» рассказчиков: подполковника И. Л. П., девицы К. И. Т., титулярного советника А. Г. Н.

Так что, приподняв маску Ивана Петровича, обнаружишь лишь физиономию девицы или подполковника.

Вопрос второй. Что такое маска?

Если это не злоумышленное притворство, то игра.

Вопрос третий. Что общего между «Выстрелом», «Метелью» и «Станционным смотрителем»?

Это три рассказа об игре судьбы.

На наших глазах подбрасывается пятак на счастье...

Угадай: орел?! решка?!

И не орел, и не решка. Во всех трех сюжетах третий ответ: пятак становится на ребро и в этом положении окончательно замирает.

Еще вопрос. Может ли пятак трижды становиться на ребро?

Вы что, смеетесь?

Похоже на то. За серьезной миной И. П. Белкина прячется улыбка Александра Сергеевича Пушкина.

Ирония — знак отторжения, признание недействительной предлагаемой нам реальности.

Если уж и говорить о параллельности, присутствующей в «Станционном смотрителе», то это параллельность существования в разных мирах, в разных измерениях той же Дуняши и Самсона Вырина. Так же, как в разных измерениях живут Пушкин и Белкин, Иван Петрович.

Вырин живет в мире житейских прописей.
Все люди добрые, хорошие: «...его высокоблагородие не волк и тебя не съест; прокатись-ка до церкви».

А уж если увозят, то на пагубу, для жестокой потехи: «...отдайте мне, по крайней мере, бедную Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите же ее понапрасну».

И денег за позор брать нельзя. Вынул сунутое за обшлаг и выкинул.

А когда спохватился и ринулся из мира идеального в реальный, в этом реальном мире уже какой-то проворный щеголь денежки подобрал, прыгнул на радостях к извозчику и закричал: «Пошел!»

Что ж тут осталось от притчи, если погиб исповедующий прописи отец, а «блудная овечка» счастлива и благополучна?

Для чего нужно было так наглядно выворачивать наизнанку известный нравоучительный сюжет?

Может быть, для того и развесил Александр Сергеевич Пушкин в жилище Самсона Вырина евангельские картинки, приспособленные к вкусу практических немцев, с недоступными для Вырина назидательными немецкими стихами, чтобы сказать и себе, и нам с вами уж заодно: не ограничивайте своим воображением милосердия Божьего, нет ему предела. А счастье – вовсе не отметка за хорошее поведение...

Да, конечно, велико и поучительно милосердие отца, простившего и принявшего в свои объятия истаскавшегося на неверных путях сына.

Но разве может оно сравниться с тем высшим милосердием, которое только и может быть оправданием высшей, в том числе и Божественной, власти?

Иван Петрович Белкин рассказывает нам занятные истории, а Александр Сергеевич Пушкин подводит черту под дидактической традицией литературы XVIII века.

Вырин живет в мире правил и порядка, пронумерованный «мученик четырнадцатого класса». Дуняша, щедро наделенная красотой и способностью любить, встретившаяся рассказчику в четырнадцать лет и запомнившаяся на всю жизнь своим поцелуем, поверила жизни, поверила Творцу и его беспредельной благодатье...

Через полгода после того, как был написан «Станционный смотритель», Пушкин привезет молодую жену в Петербург, поселятся в Демутовом трактире.

Дорого бы дал, чтобы знать, вспоминал ли он, говорил ли Наталье Николаевне о том, что ротмистр Минский, увезший доверчивую и жаждущую любви Дуняшу, тоже поселился с нею в Демутовом трактире. И не из благородной ли тени друга Вакха и Венеры, ротмистра Лунина, сотканы немногие черты ротмистра Минского?

Сам Пушкин не приписывал совпадения одной случайности. Совпадения – это как бы двойные ступеньки, позволяющие приподняться и заглянуть в скрытый от нас смысл.

Венчался Александр Сергеевич в церкви Святого Вознесения, и день рождения пришелся на праздник Вознесения Господня. Хорошо!

Приближение с закрытыми глазами

«Ищите нас мыслями в Петербурге не в Захарьевской улице, а на Фонтанке...»

Н. Карамзин – П. Вяземскому. 11.09.1818

В Питере сотня, а может быть, и не одна, адресов, хранящих тень Пушкина.

Сами улицы, набережные, площади, острова, загородные дороги, исхоженные им и изъезженные, быть может, тоже хранят о нем память.

Существует мнение, дескать, «созерцание старого дома возвращает нам мир, который этот дом видел молодым».

Весь вопрос, как созерцать, каким зрением.

Что скажет нам созерцание трехэтажного дома в Соляном переулке близ Фонтанки, встроенного в плотный ряд других домов?

Разве что светлый фасад, выдержанный в гармонической пропорции, скромным своим украшением напомнит благородный лист поздравительного письма. Я так и смотрю на него, как на конверт, пришедший оттуда, из осени 1799 года.

А чтобы заглянуть в этот конверт, надо закрыть глаза, иначе бьющий в глаза и уши сегодняшний день не даст возможности разглядеть в свете масляных фонарей приближающийся скрипучий обоз...

Осенью дни короткие, стало быть, приехали затемно. Ранние сумерки защитили от иронии и насмешек малоторжественный въезд видавшего виды рыдвана в сопровождении обоза с дворней и челядью. Разномастные тощие лошадки, скрипучие облезлые повозки, многолюдная нетрезвого вида прислуга и полусонные кучера – все это двигалось, стучало, скрипело, переключалось и медленно перетекало с набережной Фонтанки на Пантелеймоновскую и сразу за церковью на углу круто сворачивало налево в тихий Соляной переулок.

На улицах в ту пору в темное время народу болтаться не полагалось. Так что, кроме нас с вами, будет не так уж много свидетелей прибытия обоза, несущего на себе следы пути несомненно долгого.

Дом на полуподвалах, с лавками по обеим сторонам прямоугольной прорези подворотни. Туда, в темноту двора, втягиваются лошади, повозки. Крики, распоряжения, бесконечные «чаво?» и «куды» плохо видящих и еще хуже понимающих друг друга приезжих и хозяев двора. Суматоха разгрузки утомленной дорогой и спешащей к ночлегу и в тепло семьи и прислуги.

И вот самое главное.

Из барского рыдвана, замершего у парадного входа сбоку от подворотни, с надлежащей осторожностью вынули, передали в надежные руки (пока-то выберется кормилица, придерживая длинные юбки и сбившиеся шали) куколь, где в обрамлении приличествующих обитателю куколя воланчиков мелькнет миниатюра пушкинского лица...

Привезли из Михайловского и увезут в Михайловское через тридцать семь лет, и тоже лежа, с закрытыми глазами, с головой на подушке, в обрамлении подобающих обстоятельству воланчиков.

А пока – внесен, переодет, умыт, накормлен и видит свой первый в жизни петербургский сон самый важный, самый дорогой, самый интересный, самый значительный житель этого города...

Свечи, фонари, свет в окнах, все постепенно гаснет, стихает, оставив уже неразличимые следы набега утренним заботам распорядительного дворника...

Наступила пушкинская эпоха!

...Первые месяцы жизни, а за плечами уже полторы тысячи верст, от Москвы до Михайловского, из Михайловского в Санкт-Петербург.

«Долго ль мне гулять на свете то в коляске, то верхом?..»

А всю жизнь, Александр Сергеевич, всю жизнь...

И в последний ваш дом в этом городе, как и в первый, внесут вас вот так же, на руках...

«Грустно тебе нести меня, Никита?..»

Вы – поэт, и в уважение к вашему гению кто-то будет рифмовать вашу жизнь.

Кто?

А кого вы спрашивали «долго ль мне гулять на свете...», вот этот ваш собеседник и зарифмует.

А завтра вы проследуете в Летний сад, пользуясь редкой для этого скверного города тихой и ясной осенней погодой. Осень – это ваша пора!

По дороге батюшка с матушкой заглянут к Пантелеймону, в островерхую церковь, поставят свечки за благополучное завершение путешествия.

На руках няньки вы проплывете мимо дома Оливье, где, придет время, ваша блистательная жена снимет квартиру, пока вы будете колесить по Оренбургским степям. Вам случится прибить дворника в этом доме, запершего ворота до вашего возвращения, о чем вы оставите дорогое для нас свидетельство. Вот и Летний сад, не скрывающий сегодня своей редкой уже лиственной высокой холодной небо, вы будете звать «моим огородом» и выходить сюда, к удивлению публики, по-домашнему, в халате и шлепанцах...

Здесь, на зыбкой питерской земле, вы будете учиться ходить и с первых же шагов будете замечены ревнителем порядка, злосчастным монархом, для которого торопливо возводится дворец, окруженный рвами и каналами, дворец, больше похожий на неприступную крепость, где государь будет в собственной спальне забит именитыми заговорщиками насмерть, а для верности еще и придушен офицерским шарфом.

Но прежде чем это случится, надзирающий за строительством замка монарх узрит картуз на вашей, Александр Сергеевич, по молодости дней еще неподсудной голове. Монарх всемилостивейше заметит вашей няньке, положив своим замечанием начало множеству монарших попреков

и выговоров, которые продолжат его славные сыновья, государи императоры Александр Павлович и Николай Павлович.

Где же произошла историческая встреча?

Надо крепко зажмуриться, чтобы не видеть Пантелеймоновского моста, поскольку здесь еще и Цепного не было, его построят, пока вы будете в ссылке. Едва ли государь соблаговолил сделать няньке выговор в тесном переулке, идущем от Соляного к Фонтанке, урок должен быть показательным и публичным. В Летний сад вас водили по набережной Фонтанки к Прачешному мосту, направо будет дом Баташова, где вы с Натальей Николаевной проживете почти три года, а налево, как раз вдоль фельтеновой решетки, вас ведут к главному входу у самой Невы.

Ничто не помешает вообразить нам памятник на месте исторической встречи: на одной стороне дороги император, жестом вразумляющий, а лицом являющий укоризну, а по другую сторону, на тротуаре, нянька, с трепетом взирающая на монарха и приподнимающая над головой недоумевающего мальчика картуз...

Знали бы Их императорское величество, что в голове, предъявленной к его обозрению, родятся чудные слова: «Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!»

И что замечательно, стихи эти будут написаны совсем неподалеку от места вашей встречи, в пяти минутах ходьбы, как раз напротив замка, выкрашенного в цвета запекшейся крови...

Тесно истории на невыхских берегах!

Вот и для сочинения возмутительных стихов не нашлось во всем столичном городе иного дома, кроме дома, где в бельэтаже обитал сам обер-прокурор Святейшего Синода, искоренитель «вольномудства, безбожия и своеволия революционной необузданности», министр народного просвещения князь Голицын, Александр Николаевич, принимавший у Пушкина выпускные экзамены в Лицее.

Так уж судьбе было угодно, чтобы на верхнем этаже этого же дома, в казенной квартире у братьев Тургеневых, Александра Ивановича и Николая Ивановича, собиралась жизнерадостная компания, обозначившая свою удаленность от столицы, а стало быть и от строгой власти, вывеской «Арзамас».

Что за воздух был в этом «городке», если там равно хорошо дышалось и Блудову Дмитрию Николаевичу, и Муравьеву Никите Михайловичу? Придет час, и Дмитрий Николаевич, делопроизводитель Верховной следственной комиссии по делу декабристов, недрогнувшей рукой впишет двадцать лет каторги Никите Михайловичу, гвардии капитану Генерального штаба и члену Северного общества.

Такой уж это был веселый клуб, «Арзамас», налагавший на своих членов лишь обязательства остроумия и непринужденной игры. Ни от кого не таясь, вольномудные «арзамасцы» насмешничали над всем и вся, в том числе и над акафистами, доносившимися снизу, из домово́й церкви обер-прокурора. А ведь в особую молельню, устроенную в двух совершенно темных комнатках, освещенных кровавым светом лампы, выполненной из красного стекла в форме человеческого сердца, часто приезжал то ли молиться, то ли замаливать грех соучастия в отцеубийстве сам государь Александр Первый.

А наверху не знающие за собой греха «арзамасцы» упиваются вольномудством при распахнутых окнах и свете белых ночей.

Здесь же резвый, вертлявый, похожий на избалованного ребенка, всеми любимый, талант несомненный и многообещающий, только что выпущенный из Лицея и зачисленный в Коллегию иностранных дел вместе с А. С. Грибоедовым и своими однокашниками по Лицею Кюхельбекером, Ломоносовым и Горчаковым, коллежский секретарь Александр Пушкин.

Он шаловлив, необуздан, неистощим на выдумку, всех задевает, чувствует себя все время на сцене, словно нарочно все делает для того, чтобы и строгий вкус, и не юношеская наблюдательность, ум и талант были предъявлены только в мелкой монете... Все кругом знают, как должен себя держать и вести недюжинного ума, большого таланта человек, много обещающий в будущем. Все знают, не знает один он. Зато он знает и умеет то, что не дано другим.

За окном на другом берегу Фонтанки в дымке белой ночи призрачный, отягощенный заклатьем дворец...

«А ну, Сверчок, полно шалить, займись делом, опиши дворец, тот, что за окном...»

И в ту же минуту он ищет глазами удобного для работы места, поскольку уже привык писать стихи лежа...

«Вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать».

Неужели такое пишется со смехом?

...Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец .

...Он видит живо пред очами,
Он видит – в лентах и звездах
Вином и Злобой упоенны
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

...О стыд! о ужас наших дней!
Как звери вторглись янычары!..
Падут бесславные удары –
Погиб увенчанный злодей.

Было время, всемогущий император преподавал урок вежливости и почитания пушкинской няньке, пришла пора другого урока: «И днесь учитеесь, о цари...»

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Урок и нам, вовлеченным в поиски правых и виноватых: презрение убийцам и никакого сочувствия жертве. Злодеи разных мастей сводили свои счета, и с нас достанет, если осознаем стыд, почувствуем ужас...

Тесно истории на этих берегах.

Именно в замке государя, видевшего под каждой круглой шляпой смутьяна и бунтаря, станет заседать «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», организация самодеятельная, никому не подчиненная. Пушкин летом 1818-20 будет принят действительным членом и дважды посетит заседания, проходившие в замке.

Вода в Фонтанке движется почти незримо. Так же проходит время.

На месте лодочной переправы поднялся Цепной мост.

Обветшал.

На его месте поднялся Пантелеймоновский, каменный.

На месте деревянного циркового манежа воздвигнут первый каменный цирк.

Уносит речка в своих водах в небытие отражение исчезнувших лаковых мастерских, спичечных и столярных дворов, отделявших нарышкинский дворец, тоже исчезнувший, от дома Екатерины Федоровны Муравьевой, урожденной баронессы Колокольцевой, жены куратора Московского университета. Ее дом дал приют и стал местом собраний тех, чьи имена составят гордость России: Карамзин, Лунин, братья Муравьевы-Апостолы, Пестель, Тургенев Николай Иванович, Вяземский, Жуковский, Гнедич, Пушкин Александр Сергеевич...

Здесь Никита Михайлович Муравьев как раз и составлял программный документ Северного общества, поименованный «Конституцией».

Здесь собирались члены Тайного общества...

Тень этого дома сохранилась в уцелевшей строфе десятой главы «Онегина»: «Витийством резким знамениты, сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты...»

Достанет ли нашего воображения представить себе этот дом в былом его облики?.. Собрание за окнами третьего, последнего в ту пору этажа... Резкое витийство людей, помышляющих не о своем прибытке и успехе, а озабоченных судьбой Отечества и жаждущих блага неведомым им людям, Отечество населяющим.

...В какую даль унесли воды Фонтанки отражение особняка графа Разумовского, ведь здесь, в жилище министра народного просвещения, и принимали экзамены у поступающих в опекаемый графом Лицей.

Сегодня на этом месте широкая и пустынная Бородинская улица, проложенная от Фонтанки в сторону Загородного проспекта к столетию Отечественной войны.

Зато и по сей день почти в неизменном виде глядят на Фонтанку окна дома директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина, прославившегося приятностью европейской жизни и простотой русской старины. Здесь девятнадцатилетняя жена старого генерала поразит воображение двадцатилетнего поэта. В эту первую встречу Анне Керн Александр Пушкин покажется несколько докучливым и неостроумным. А последняя встреча случится в Москве. Уже в преклонных годах Анна Петровна увидит за окном, как везут постамент под бронзовое изваяние ее друга, что будет установлен на Тверском бульваре... Предание сохранил нам ее вздох: «Давно пора...»

Но раз уж мы оказались в доме Оленина, вернемся сюда, в эту семью вместе с Пушкиным, наконец-то возвращенным из ссылки. Теперь за окнами в квартире Олениных другая река, Нева, с видом на крепость.

Пушкин будет изумлен преображением дочери гостеприимного Оленина, крошечной Аннет, в юную фрейлину, сочетающую прежнюю грацию ребенка с пронизательностью искушенной светской дамы.

Пушкин будет искать руки пленительной красавицы, однако Алексей Николаевич, принимавший участие в смягчении судьбы юного поэта, нынче поставил и свою подпись под решением Государственного совета об учреждении над неугомонным сочинителем секретного надзора. А поднадзорные женихи, как известно, в столицах не в чести.

И только окрыленные музыкой слова звучат незатухающим эхом былого чувства: «...я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Другим окажется побочный сын новороссийского губернатора Ланжерона, офицер лейб-гвардии гусарского полка... Куда Пушкину до гусара! Судя по оставленным Аннет Олениной запискам, поэт не был героем ее романа: «Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который был виден в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его...» О злобе судить не станем, но насмешливости и в вас, Анна Алексеевна, больше, чем хотелось бы.

Расчетливая трезвость пронизательной фрейлины, памятной нам, главным образом, по стихам, посвященным ей поэтом, отрезвляет и нас, заставляет очнуться и прервать путешествие с закрытыми глазами.

Да и где его конец?

Сразу острее чувствуется и ветер нынешних времен, холодных и расчетливых.

Эгоизм и неограниченное самолюбие возведены в достоинство.

Жажда путешествий подальше от дома стала данью моде и заменяет чтение.

Улицы, набережные и проспекты, обезображенные пошлой и циничной рекламой, сулят покупные радости...

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, строгий вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит –
Все же мне вас жаль немножко...

В последнем приближении

С какой стороны к нему ни подойдешь, он увлечет тебя в такую даль, сведет с такими людьми, вознесет, рассмешит, огорошит, заставит оглянуться и на себя и окрест, и снова и снова будет заражать и дразнить мыслью, словом, поступком...

Так и будет до самой нашей последней встречи на высоком холме в Святогорском монастыре, в тени Успенского собора.

Когда я ехал первый раз в Пушкинские Горы, а дело было в годы молодые, но не юные, понятное дело, я знал, что еду туда, где жил, а ныне покоится в соответствии с собственным завещанием Александр Сергеевич Пушкин.

Но и здесь ждала неожиданность, да еще какая...

Пушкин – в могиле!

Лишь оказавшись наедине с его надгробием, лишь прочитав надпись под гротом с урной внутри, до моего сознания дошло – он мертв, его нет.

Он там, в земле, под этим нелепым надгробием, напоминающим русскую печку с невысокой сужающейся трубой.

А какое должно быть лепым?..

Оказывается, ты уже привык всю жизнь ощущать его рядом, слышать, знать, удивляться, досадовать, злиться, восхищаться...

Он был жив в каждой своей строке, в письме, в стихе, в строчке прозы, в щадящих прочерках и многоточиях в скобках, в анекдоте, сплетне, и только сейчас, когда он вот здесь, совсем рядом, он тих, нем и неподвижен.

Только сейчас и здесь ты понял... нет, понять это невозможно, ощутил всем своим существом, до холода в сердце, как ощущают весть о гибели родного человека, страшную новость – его нет.

Всегда его имя, само слово – Пушкин – предваряло общение, движение и новость, и только здесь оно – неподвижность и молчание, объявление о смерти. Такое чувство, будто здесь и сейчас его отняли у тебя, и отняли навсегда...

Впрочем, это сейчас я перебираю в памяти все случившееся, пытаюсь что-то назвать и объяснить, тогда все произошло мгновенно: увидел могилу, прочитал имя, и слезы хлынули из глаз, как из опрокинутого блюдца...

Извержение слез на вытоптаных туристских маршрутах не предусмотрено, пришлось бежать от могилы, расплывшейся в глазах, к церковной стене, задирать голову вверх, изображая повышенный интерес к куполам, барабанам и законам...

Слезы теперь текли из уголков глаз к ушам.

Я увидел себя со стороны. Герой анекдота. Турист прибыл в Пушгоры. Здесь впервые узнал, что Пушкин умер, и расплакался. Слезы слезами, но я уже смеялся... «...ему и больно и смешно...»

Как же это ему удалось так поймать меня и зарифмовать через двадцать-то лет?

Кто-то рифмовал его жизнь.

Он – нашу.

Поэт.

Творец...